

МАРК ТУЛЛИЙ  
ЦИЦЕРОН



ТУСКУЛАНСКИЕ  
БЕСЕДЫ

## Аннотация

*Трактат посвящен Марку Бруту и состоит из пяти книг, написанных в форме пяти воображаемых диалогов между учителем и учеником. «Тускуланские беседы» считаются одним «из самых прекрасных и влиятельных» произведений Цицерона благодаря своему великолепному стилю изложения.*

*Древнеримский оратор и философ Марк Туллий Цицерон был выходцем из простой семьи, но смог стать знаменитым политическим деятелем, благодаря своему ораторскому таланту. Он играл ключевую роль в политической жизни Рима и всегда был самым рьяным сторонником Республики, что, в конечном счете, привело его к гибели. После себя он оставил достаточно большое литературное наследие, существенная часть которого сохранилась.*

# Марк Туллий Цицерон

## Тускуланские беседы

Марку Бруту

### Книга I

#### О презрении к смерти

(1) В эти дни, когда я отчасти или даже совсем освободился от судебных защит и сенаторских забот, решил я, дорогой мой Брут, послушаться твоих советов и вернуться к тем занятиям, которые всегда были близки моей душе, хоть и времени прошло много, и обстоятельства были неблагоприятны. А так как смысл и учение всех наук, которые указывают человеку верный путь в жизни, содержится в овладении тою мудростью, которая у греков называется философией, то ее-то я и почел нужным изложить здесь на латинском языке. Конечно, философии можно научиться и от самих греков — как по книгам, так и от учителей, — но я всегда был того мнения, что наши римские соотечественники во всем как сами умели делать открытия не хуже греков, так и заимствованное от греков умели улучшать и совершенствовать, если находили это достойным своих стараний.

(2) Наши нравы и порядки, наши домашние и семейные дела — все это налажено у нас, конечно, и лучше и пристойнее; законы и уставы, которыми наши предки устроили государство, тоже заведомо лучше; а что уж говорить о военном деле, в котором римляне всегда были сильны отвагой, но еще сильнее умением? Поистине, во всем, что дается людям от природы, а не от науки, с нами не идут в сравнение ни греки и никакой другой народ: была ли в ком такая величавость, такая твердость, высококость духа, благородство, честь, такая доблесть во всем, какая была у наших предков?

(3) Однако же в учености и словесности всякого рода Греция всегда нас превосходила, — да и трудно ли здесь одолеть тех, кто не сопротивлялся? Так, у греков древнейший род учености — поэзия: ведь если считать, что Гомер и Гесиод жили до основания Рима<sup>1</sup>, а Архилох — в правление Ромула, то у нас поэтическое искусство появилось много позже. Лишь около 510 года от основания Рима Ливий поставил здесь свою драму<sup>2</sup> — это было при консулах Марке Тудитане и Гае Клавдии, сыне Клавдия Слепого, за год до рождения Энния. Вот как поздно у нас и узнали и признали поэтов. Правда, в «Началах»<sup>3</sup> сказано, что еще на пирах был у застольников обычай петь под флейту о доблестях славных предков; но, что такого рода искусство было не в почете, свидетельствует тот же Катон в своей речи, где корит Марка Нобилиора за то, что он брал с собою в провинцию поэтов: как известно, этого консула сопровождал в Этолию Энний. А чем меньше почета было поэтам, тем меньше и занимались поэзией; так что даже кто отличался в этой области большими дарованиями, тем далеко было до славы эллинов.

(4) Если бы Фабий, один из знатнейших римлян, удостоился хвалы за свое живописание, то можно ли сомневаться, что и у нас явился бы не один Поликлет и Паррасий<sup>4</sup>? Почет питает искусства, слава воспламеняет всякого к занятию ими, а что у кого не в чести, то всегда влачит жалкое существование. Так, греки верхом образованности полагали пение и струнную игру — потому и Эпаминонд, величайший (по моему мнению) из греков, славился своим пением под кифару, и Фемистокл незадолго до него, отказавшись взять лиру на пиру, был сочтен невеждою. Оттого и процветало в Греции музыкальное искусство: учились ему все, а кто его не знал, тот считался недоучкою.

(5) Далее, выше всего чтилась у греков геометрия — и вот блеск их математики таков, что ничем его не затмить; у нас же развитие этой науки было ограничено надобностями денежных расчетов и земельных межеваний.

---

<sup>1</sup> Основание Рима относится к 753 г. до н. э.; жизнь Гомера и Гесиода относили то к более раннему, то к более позднему времени; время жизни Архилоха, одного из первых лириков, — к VII в. до н. э.

<sup>2</sup> Постановка первой драмы первого римского поэта, грека-вольноотпущенника Ливия Андроника — 240 г. до н. э.

<sup>3</sup> «Начала» — римская история, написанная Катоном Старшим (не сохранилась).

<sup>4</sup> Поликлет(V в.) и Паррасий(конец V в. до н. э.) — знаменитые ваятель и живописец.

Красноречием зато мы овладели очень скоро; и ораторы наши сперва были не учеными, а только речистыми, но потом достигли и учености. Учеными, по преданию, были и Гальба<sup>5</sup>, и Африкан, и Лелий; не чуждался занятий даже их предшественник Катон; а после них были Лепид, Карбон, Гракхи<sup>6</sup> и затем, вплоть до наших дней, такие великие ораторы, что здесь мы ни в чем или почти ни в чем не уступаем грекам. Философия же, напротив, до сих пор была в пренебрежении, так ничем и не блеснув в латинской словесности, — и это нам предстоит дать ей жизнь и блеск, чтобы, как прежде, находясь у дел, приносили мы посильную пользу согражданам, так и теперь, даже не у дел, оставались бы им полезны.

(6) Забота эта для нас тем насущнее, что много уже есть, как слышно, латинских книг, писанных наспех мужами весьма достойными, но недостаточно для этого подготовленными<sup>7</sup>. Ведь бывает, что человек судит здраво, но внятно изложить свои мысли не может, — ничего особенного в этом нет; но когда человек, не умея говорить ни связно, ни красиво, ни сколько-нибудь приятно для читателя, пытается излагать свои размышления в книгах, то этим он во зло употребляет и время свое, и книги. Поэтому-то и читают такие сочинения только сами они да их друзья — никому другому до них и дела нет, кроме тех, кто так же считает для себя дозволенным писать, что ему вздумается. Вот почему и решили мы: если усердие наше принесло хоть какую-то похвалу нашему красноречию, то с тем большим усердием должны мы явить людям тот исток, из которого исходило само это красноречие, — исток философии.

(7) И вот как некогда Аристотель, муж несравненного дарования, знания и широты, возмущаясь успехом ритора Исократ<sup>8</sup>, стал сам учить юношей хорошо говорить, соединяя тем самым мудрость с красноречием, — так и мы теперь рассудили: не оставляя прежних наших занятий витийством, предаться также и этой науке, много обширнейшей и важнейшей. Ведь я всегда полагал, что только та философия настоящая, которая о самых больших вопросах умеет говорить пространно и красноречиво; и занимался я ею так усердно, что даже позволил себе устраивать уроки ее на греческий лад. Так что вскоре после твоего отъезда, милый Брут, я и попробовал испытать в этом свои силы, воспользовавшись тем, что на Тускуланской моей вилле как раз собралось много моих друзей. Когда-то я устраивал декламации<sup>9</sup> на судебные темы и не оставлял этого упражнения дольше всех; а теперь, на старости лет, подобные рассуждения заменили мне декламации: я предлагал назначить, кто о чем хочет услышать, а потом, сидя или прохаживаясь, начинал рассуждать.

(8) Вот такие уроки (или, по-ученому говоря, лекции) я вел пять дней и записал в пяти книгах. Делалось это так: когда кто хотел о чем-нибудь послушать, тот сперва сам говорил, что он об этом думает, а потом уже я выступал с противоположным суждением. Ты ведь знаешь, что именно таков старинный сократический обычай — оспаривать мнение собеседника; Сократ считал, что так легче всего достичь наибольшего приближения к истине. Впрочем, чтобы понятнее было, в чем состояли эти наши споры, я изложу их тебе, словно не рассказывая, а показывая. Вот как, стало быть, мы начали:

(9) — Мне представляется, что смерть есть зло.

— Для кого? Для тех, кто умер, или для тех, кому предстоит умереть?

— И для тех, и для других.

— Если смерть — зло, то она — и несчастье?

— Конечно.

— Стало быть, несчастны и те, кто уже умер, и те, кому это еще предстоит?

— Думаю, что так.

— Стало быть, все люди несчастны?

— Все без исключения.

— В таком случае и при таком рассуждении все, кто рожден или будет рожден, не только несчастны, но и навеки несчастны? Если бы ты сказал, что несчастны только те, кому предстоит умереть, то это относилось

---

<sup>5</sup> Гальба Сервий Сульпиций — политический деятель и оратор, который, по словам Цицерона (Брут, 82), «первый из римлян стал применять особые, свойственные ораторам приемы».

<sup>6</sup> Лепид Эмилий — консул 137 г. и выдающийся оратор; его учениками в ораторском искусстве были, по словам Цицерона, Тиберий Гракх и его друг Гай Папирий Карбон.

<sup>7</sup> Речь идет о популярных эпикурейских книжках, модных в Риме в это время, против которых борется Цицерон.

<sup>8</sup> Знаменитая (по-видимому, легендарная) реплика Аристотеля, парафразирующая строку Еврипида: «Позорно молчать, когда говорят Исократы!»

<sup>9</sup> Декламации — учебные упражнения в судебных речах на вымышленные темы.

бы ко всем без исключения живущим (ибо всем предстоит умереть), но, по крайней мере, смерть была бы концом их несчастий. Если же даже мертвые несчастны, то поистине мы рождаемся на вековечное несчастье. Ведь тогда несчастны даже те, кто уже сто тысяч лет как умерли, да и вообще все, кто когда-либо был рожден на свет.

(10) — Именно так я и думаю.

— Тогда скажи: что же тебя страшит? Трехголовый ли адский Цербер, или плеск Коцита, или путь через Ахеронт, или Тантал, который

В волнах по шею, но томится жаждою,—

или как

Весь в поту, Сизиф

Свой камень катит, но не в силах сдвинуться?<sup>10</sup>

Или, может быть, неумолимые судьи Минос и Радаманф, перед которыми не сможет защитить тебя ни Марк Антоний, ни Луций Красс, ни сам Демосфен, которому вроде бы и легче иметь дело с греческими судьями? Тебе ведь придется говорить самому за себя и при несметном множестве слушателей. Не этого ли ты боишься и не поэтому ли считаешь смерть вековечным злом?

— За кого ты меня считаешь, скажи на милость? Не настолько же я спятил, чтобы во все это верить.

— Так ты в это не веришь?

— Нисколько.

— Плохо тогда твое дело!

— Почему?

— Потому что я мог бы на все это возразить очень даже красноречиво.

(11) — Конечно, тут это мог бы и всякий! Велик ли труд опровергать дикие выдумки поэтов и художников?

— Однако же рассуждениями против них заполнены целые книги философов.

— И зря. Какого глупца могло бы все это смутить?

— Тогда значит, если в загробном мире нет несчастных, то в загробном мире и вовсе никого нет?

— Конечно, нет.

— Где же тогда те, кого ты именуешь несчастными? Какое место в мире занимают они? Ведь если они существуют, должны же они где-нибудь быть.

— А я так понимаю, что они — нигде.

— То есть они не существуют?

— Да, они не существуют, но потому-то они и несчастны, что не существуют.

(12) — Ну, по мне, так уж лучше бояться Цербера, чем так непоследовательно рассуждать.

— Почему же непоследовательно?

— Потому что ты говоришь, что они не существуют, и в то же время — что они существуют. Где же твой здравый смысл? Ведь утверждая, что они несчастны, ты признаешь, что они существуют, хотя и говоришь, будто они не существуют.

— Нет, я не настолько глуп, чтобы это иметь в виду.

— Тогда что же ты имеешь в виду?

— Я хочу сказать, например, что несчастен Марк Красс, которого судьба лишила стольких его богатств, несчастен Гней Помпей, который лишился своей великой славы, несчастны все, кому не дано более видеть света.

— Ты опять возвращаешься к тому же. Если все они несчастны — значит, они еще существуют; а ты говорил, что мертвые перестают существовать. Если они перестали существовать, то их нет, а если их нет, то они не могут быть несчастны.

— Как видно, я неправильно выразил мою мысль: само несчастье, по-моему, в том и состоит, что ты существовал и вот уже не существуешь.

(13) — Как? Неужели это еще хуже, чем совсем не существовать? Ведь получается, что и те, кто еще не рожден, уже несчастны, ибо не существуют, и мы сами, еще нерожденные, были несчастны, ибо нам предстояло умереть и стать несчастными после смерти. Вот беда, что я никак не припомню, был ли я несчастен до рождения; если у тебя память получше, то скажи, не припоминаешь ли ты?

<sup>10</sup> Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, перевод стихов М.Л. Гаспарова.

— Ты шутишь так, словно я не мертвых назвал несчастными, а неродившихся!

— Именно это ты и сказал.

— Да нет же: я сказал, что несчастье — в том, чтобы существовать и вдруг перестать существовать.

— Опять ты не замечаешь противоречия! Разве не противоречие — говорить, что тот, кого нет, несчастен, или счастлив, или каков бы то ни было? Разве, глядя на склепы Калатинов, Сципионов, Сервилиев, Метеллов за Капенскими воротами, ты думаешь, что все эти усопшие несчастны?

— Раз уж ты стараешься поймать меня на слове, я скажу так: они не вообще несчастны, а несчастны только потому, что не существуют.

— То есть ты не говоришь: «Марк Красс — несчастен», а говоришь «Несчастный Марк Красс!» — и только?

— И только.

(14) — Но ведь все равно: что бы ты ни заявлял таким образом, ты неизбежно заявляешь, что нечто или существует, или не существует! Или тебе не довелось даже пригубить диалектики? Первое ее правило (ἀξίωμαπο-гречески; сейчас мне хорош и такой перевод, а если найдется лучше, то воспользуюсь и другим): всякое высказывание есть то, что или истинно или ложно. Стало быть, когда ты говоришь: «Несчастный Марк Красс!», то этим ты или говоришь: «Марк Красс — несчастен» (истинно это или ложно — разговор особый), или же вообще ничего не говоришь.

— Ладно, я согласен, кто мертв — тот не несчастен; ты добился-таки, чтоб я признал: кто не существует, не может быть несчастен. Ну а мы, те, кто живем, чтобы умереть, — разве мы не несчастны? Возможна ли в жизни радость, когда денно и ночью приходится размышлять, что тебя ожидает смерть?

(15) — Напротив! Да понимаешь ли ты сам, насколько облегчаешь ты тяжесть горькой нашей людской доли?

— Как это?

— А вот как. Если бы и в смерти мертвые были несчастны, то над жизнью нашей царило бы бесконечное и вековечное зло; теперь же я вижу тот предел, достигнув которого, можно уже более ничего не бояться. Право, мне кажется, что ты вторишь мысли Эпихарма<sup>11</sup>, писателя умного и остроумного, как все сицилийцы.

— Что это за мысль? Я не слыхал о ней.

— Постараюсь сказать ее тебе на нашем языке: ты ведь знаешь, что я так же не люблю перебивать греческой речью латинскую, как и латинской греческую.

— И совершенно правильно. Но какую же мысль высказал Эпихарм?

— Мертвым быть — ничуть не страшно, умирать — куда страшней.

— Да, я догадываюсь, как это будет по-гречески. Но что же? Ты заставил меня признать, что мертвые несчастны быть не могут; заставь теперь признать, что и обреченные на смерть тоже не несчастны!

(16) — О, это не составит труда; но «нет, стремлюсь я к большему».

— Как это не составит труда? И что это за «большее»?

— А вот что. Ведь если после смерти нет никакого зла, то и сама смерть не есть зло, так как тотчас за нею наступает посмертность, в которой, по твоим же словам, нет никакого зла. Стало быть, неизбежность смерти не есть зло: она — лишь переход к тому, что не есть зло, как это мы сами уже признали.

— Подробнее, прошу тебя! Рассуждения эти слишком тернисты и от меня требуют скорее признания, чем согласия. И что же это за «большее», к которому ты будто бы стремишься?

— Показать по мере сил, что смерть не только не зло, но даже благо.

— Не смею об этом просить, но очень хотел бы услышать: покажи хоть не все, что ты хочешь, покажи хоть только то, что смерть не зло. Перебивать тебя я не буду: гораздо охотнее я выслушаю связную твою речь.

(17) — А если я сам тебя о чем-нибудь спрошу, ты мне ответишь?

— Это уж было бы слишком самонадеянно; поэтому без крайней надобности лучше не спрашивай.

— Будь по-твоему: все, что ты хочешь, я объясню по мере сил, но, конечно, не так, как пифийский Аполлон — твердо и непреложно, а как простой человек, один из многих, судящий лишь по догадке и вероятности. Далее видимого подобия истины идти мне некуда, а непреложные истины пусть возвещают те, кто притязают их постичь и величают себя мудрецами.

— Говори, как сочтешь нужным, — я готов слушать.

(18) — Итак, что же такое смерть — эта, казалось бы, общеизвестная вещь? Вот наш самый первый вопрос. Ведь одни полагают, что смерть — это когда душа отделяется от тела; другие — что душа вовсе не отделяется от тела, что они гибнут вместе, и душа угасает в самом теле. Далее, из тех, кто полагает, что душа

<sup>11</sup> Философ и комедиограф V в. до н. э., был знаком римлянам по посвященному ему сочинению Энния.

отделяется от тела, иные считают, что она развеивается тотчас, иные — что продолжает жить еще долгое время, иные — что пребывает вечно<sup>12</sup>. Далее, что такое сама душа, и где она, и откуда она, — об этом тоже немало разногласий. Иные считают, что душа — это сердце (сog), и поэтому душевнобольные называются *excordes*, сумасброды — *vecordes*, единомышленные — *concordes*, поэтому же мудрый Назика<sup>13</sup>, дважды бывший консулом, прозван «Коркул», поэтому же сказано: Злой Секст, проницательный муж великого сердца.

(19) Эмпедокл считает, что душа — это притекающая к сердцу кровь; другие — что душою правит какая-то часть мозга; третьи не отождествляют душу ни с сердцем, ни с частью мозга, но допускают, что место ее и пристанище — то ли в сердце, по мнению одних, то ли в мозгу, по мнению других; четвертые говорят, что душа — это дух (таковы наши соотечественники — отсюда у нас выражения «расположение духа», «испустить дух», «собратиться с духом», «во весь дух»); да и само слово «дух» родственно слову «душа»); а для стойка Зенона душа — это огонь.

Сердце, мозг, дух, огонь — это все мнения общераспространенные; а у отдельных философов есть еще вот какие. Не так уж давно Аристоксен, музыкант и философ, вслед за еще более давними мыслителями, говорил, что душа есть некоторое напряжение всего тела, такое, какое в музыке и пении называется «гармонией»; сама природа и облик тела производят различные движения души, как пение производит звуки.

(20) Так говорит он, держась своего ремесла; но сказанное им было уже много раньше сказано и разъяснено Платоном. Ксенократ говорит, что у души нет ни облика, ни, так сказать, тела и что душа есть число — ибо число в природе, как еще Пифагор говорил, главнее всего. Учитель Ксенократа Платон<sup>14</sup> придумал, что душа разделяется на три части: главная из них, разум, помещена в голове, как в крепости, а две другие, ей повинующиеся, гнев и похоть, каждая имеет свое место: гнев в груди, а похоть под средостением.

(21) Дикеарх, излагая в трех книгах свою коринфскую речь, в первой выводит множество спорящих ученых с их речами, а в двух остальных — некоего старца Ферекрата Фтиотийского, потомка (будто бы) самого Девкалиона, и он у него рассуждает, что душа — это вообще ничто, лишь пустое имя, что «одушевленные существа» называются так безосновательно, что ни в человеке, ни в животном нет никакой души и никакого духа, а вся та сила, посредством которой мы чувствуем и действуем, равномерно разлита по всякому живому телу и неотделима от тела — именно потому, что сама по себе она не существует, а существует только тело, единое и однородное, но по сложению своему и природному составу способное к жизни и чувству.

(22) Аристотель, наконец, и тонкостью ума, и тщательностью труда намного превосходящий всех (кроме, разумеется, Платона), выделяя свои четыре рода начал, из которых возникает все сущее, считает, что есть и некая пятая стихия — из нее-то и состоит ум. Размышлять, предвидеть, учиться, учить, иное узнавать, а многое другое запоминать, любить, ненавидеть, желать, бояться, тревожиться, радоваться и тому подобное — все это не свойственно ни одному из первых четырех начал; потому и привлекает Аристотель пятое начало, названия не имеющее, и приискивает для души новое слово — *ἐνδελέχεια*<sup>15</sup>, что означает как бы некое движение, непрерывное и вечное.

Вот какие есть мнения у философов о душе, если только я ненароком чего-нибудь не упустил. Обошел я стороною лишь Демокрита, мужа, бесспорно, великого, но душу представляющего случайным стечением гладких и круглых частиц: ведь у этого люда все на свете состоит из толчеи атомов.

(23) Какое из этих мнений истинно, пусть рассудит какой-нибудь бог; а какое из них ближе к истине, об этом можно спорить и спорить. Что же нам делать? Будем разбираться в этих мнениях или вернемся к исходному вопросу?

— Мне бы хотелось и того и другого, хотя соединить это тяжело. Поэтому, если можно избавиться от страха смерти без этих рассуждений, — сделай это; если же без разъяснения вопроса о душе это невозможно, — что ж, займемся, пожалуй, этим сейчас, а остальным в свое время.

— Как тебе больше хочется, так и мне лучше кажется. Само рассуждение покажет: какое бы из изложенных мнений ни было истинным, все равно, смерть — не зло, а может быть, даже благо.

(24) В самом деле: если душа — это сердце, или кровь, или мозг, тогда, конечно, она — тело и погибнет

---

<sup>12</sup> Что душа отделяется от тела, учили последователи Платона; что они гибнут вместе — Аристоксен, Дикеарх, атомисты; что она развеивается — эпикурейцы; что она продолжает жить долго — стойки; что она живет вечно — Сократ и Платон.

<sup>13</sup> Сципион Назика Коркул («Разумный») был консулом 162 и 155 г.; его сын был вождем расправы с Тиберием Гракхом.

<sup>14</sup> «Тимей», 44 d и далее.

<sup>15</sup> Ошибка Цицерона: термин Аристотеля был не энделехия, а «энтелехия», — «внутренняя цель».

вместе с остальным телом; если душа — это дух, то он развеется; если огонь — погаснет; если Аристоксенова гармония — то разладится; ну, а о Дикеархе с его утверждением, что душа — ничто, вообще не приходится говорить. Все эти суждения согласны в одном: что после смерти, то нас не касается. В самом деле, вместе с жизнью мы теряем чувства; а кто не чувствует, тому ни до чего нет дела. Правда, есть и другие мнения: они еще оставляют надежду, которая, может быть, тебя и тешит, — надежду, что души, покинув тела, возносятся в небо, как в свое обиталище.

— Конечно, такая надежда меня тешит; больше всего мне хотелось бы, чтобы так оно и было, а если это даже не так, то чтобы меня убедили, будто это так.

— Но тогда зачем тебе мои старания? Разве могу я превзойти красноречием самого Платона? Прочитай со вниманием его книгу «О душе»<sup>16</sup> — и тебе не останется желать ничего лучшего.

— Я читал ее, и не раз; но всегда как-то получается, что пока я читаю, то со всем соглашаюсь, а когда откладываю книгу и начинаю сам размышлять о бессмертии души, то всякое согласие улетучивается.

(25) — И что же тогда? Признаешь ли ты, что души или пребывают после смерти, или гибнут, когда приходит смерть?

— Конечно, признаю!

— И если они пребывают, то что же?

— Тогда, я полагаю, они блаженны.

— А если гибнут?

— Тогда они, по крайней мере, не несчастны, ибо не существуют более: я ведь только что это признал, поддавшись твоим настояниям.

— Как же тогда и почему же тогда говоришь ты, что смерть тебе кажется злом? Ведь благодаря ей души становятся или блаженны, сохраняя бытие, или безбедны, лишаясь чувств!

(26) — Вот и расскажи мне, пожалуйста, если не трудно: во-первых, если можно, о том, что души все же пребывают и после смерти, а во-вторых, если доказать это не удастся (ведь дело это нелегкое), то объясни, почему в таком случае смерть не есть зло; ведь я боюсь, что зло не столько в том, чтобы ничего не чувствовать, сколько в том, чтобы предчувствовать это бесчувствие.

— Чтобы доказать то, что тебя прельщает, я могу сослаться на самые лучшие свидетельства, которые во всяком деле и ценятся и должны цениться выше всего, — и первым делом на всю древность, которая ближе нас была к истоку и божественному нашему происхождению, а оттого, быть может, лучше могла распознать и самую истину.

(27) Итак, еще в тех стародавних людях, которых Энний называет «престарцы», врождено было одно убеждение: смерть не лишает чувств, и человек, кончая свою жизнь, не вовсе погибает. Свидетельств этому много, и не последние из них — жреческие законы и погребальные обряды, ибо мужи столь высокого ума не блюли бы их так бережно и не карали бы нарушение их так неумолимо, если бы не держалась в их сознании мысль: смерть — это не погибель, все сокрушающая и истребляющая, смерть — это лишь как бы переселение, перемена жизни, которая великим мужам и женам открывает путь на небеса, а всех прочих, хоть и не уводит с земли, но и не уничтожает.

(28) Вот почему соотечественники наши верят, что «Ромул живет меж богов в небесах», как сказал Энний вслед за общею молвой; вот почему и у греков таким чтимым и таким насущным богом стал Геркулес, а за ними — и у нас и дальше, до самого Океана; таков же и Либер, сын Семелы, такова же и слава братьев Тиндаридов, которые для римского народа были не только помощниками в битвах, но даже вестниками побед<sup>17</sup>. Мало того! Разве Ино, дочь Кадма, которую греки величают Левкофеей, не чтится у нас как Матута? Да и все небо в конце концов не людским ли заполнено родом<sup>18</sup>?

(29) Ведь если пойти глубже и всмотреться в то, что сообщают нам греческие писатели, то даже те боги, которые почитаются древнейшими, окажутся взошедшими в небо от нас. Подумай, сколько их гробниц показывают в Греции, вспомни, — ты ведь посвящен! — какие предания сохраняются в таинствах мистерий, и ты убедишься, что так было повсюду. Древним людям еще незнакома была физика, которую стали изучать лишь многие годы спустя — их убеждало только то знание, которое внушала им сама природа; они не понимали причин и оснований вещей, но то, что они сами видели не раз, особенно во сне, заставляло их верить, что ушедшие из жизни по-прежнему живы.

---

<sup>16</sup> Диалог «Федон».

<sup>17</sup> Диоскуры Кастор и Поллукс, по преданию, сообщили в Рим о победе при Регильском озере в 496 г.

<sup>18</sup> Излагается учение Евгемера (III в. до н. э.), популяризированное в Риме Эннием, что все божества — это великие люди, обожествленные за их услуги человечеству.



(30) Самое же незыблемое основание к тому, чтобы мы верили в существование богов, — то, что нет на свете такого дикого племени, нет такого звероподобного человека, чтобы в сознании у него не было представления о богах. Пусть многие судят о богах ложно — этому причина предрассудки; но божественную природу и суть признают все. И делается это не по людскому сговору или общему решению, держится не на уставах или законах, — а если, несмотря на это, все народы единогласны в некотором мнении, то его следует считать естественным законом.

Итак, когда мы оплакиваем смерть наших близких, то не потому ли прежде всего, что думаем: «У них отняты все блага жизни?» Не будь этой мысли, мы бы и не плакали. Здесь ведь никто не горюет о собственном несчастье — разве что испытывает боль и тоску, — а все это горестное стенание и плач поднимаются оттого лишь, что мы уверены: тот, кого мы любим, лишается благ жизни и сам это чувствует. И уверенность эта в нас — от природы, а рассудок и наука тут ни при чем.

(31) Но самый лучший довод — это безмолвное свидетельство самой природы о бессмертии души: забота, и немалая забота каждого из нас о том, что будет после его смерти. Когда в «Сверстниках»<sup>19</sup> герой говорит: «Для будущих времен он садит саженцы», то разве он не имеет в виду, что будущие времена прямо его касаются? Здесь рачительный земледелец насаждает деревья, плодов которых он не увидит, а великий человек разве не насаждает свои законы, уставы, государственные порядки? Рождать детей, продолжать свой род, усыновлять наследников, заботиться о завещаниях, на самих могилах ставить памятники и похвальные надписи — не означает ли это заботы о будущем?

(32) Но что говорить? Несомненно ведь, что каждый должен брать пример с лучших образцов своей породы, — а какой образец лучше, чем те, кто отроду посвятил себя помощи людям, заботе о людях, спасению людей? Да, Гераклес взошел к богам; но никогда бы он не взошел к богам, если бы не проложил туда дорогу в бытность свою меж людьми. Пример этот древний, освященный общено верой; а что сказать о стольких великих мужах нашего отечества, отдавших за него свою жизнь? Разве могли они считать, что конец их жизни — это и конец их доброму имени? Никто никогда не пойдет на смерть за родину без немалой надежды на бессмертие.

(33) И Фемистокл мог бы прожить свою жизнь бестревожно, и Эпаминонд, а коли взять пример поближе и поновее, то даже и я; но в сознании людском неким образом живет какое-то предчувствие будущих веков, и чем больше дар, чем выше дух, тем тверже оно держится, тем нагляднее предстает глазам. Не будь это так, кто бы в здравом уме стал подвергать себя вечным трудам и опасностям?

(34) Я говорю о вождях государства — но разве не мечтают о посмертной славе и поэты? Откуда тогда такие стихи:

Граждане, киньте свой взгляд на старого Энния облик —  
Облик того, кто воспел ваших деянья отцов...

Энний требует славы как награды от тех, чьих отцов он прославил сам:

Пусть не оплачут меня погребальные вопли и стоны —  
Незачем! Я ведь живой буду у всех на устах.

И не только поэты — даже мастера, и те ищут посмертной славы. Иначе зачем Фидий, не имея права подписать свое имя на щите Минервы, вставил в этот щит лицо, похожее на свое? А наши философы? Сочиняя книги о презрении к славе, ни один не забывает надписать на них свое имя.

(35) Поистине, если общее согласие есть голос природы и если все и всюду согласны в чем-то относительно усопших, то должны согласиться с этим и мы; и если мы считаем, что природа вещей виднее всего тем, кто сам душою превосходит других по своей природе, то есть по дарованиям и добродетелям, а чем лучше человек, тем он более служит потомству, то весьма правдоподобно, что к некоторым вещам в человеке сохраняется чувство и после смерти.

(36) Но как о том, что боги существуют, мы догадываемся от природы, а о том, что они собой представляют, узнаем рассудком, так и о том, что души живут и после смерти, мы заключаем по всенародному согласию, а о том, где они живут и каковы они, должны дознаваться рассудком. Только от недостатка такого знания и вымышляются все те преисподние ужасы, которые ты, как вижу, с полным основанием отвергаешь. Так как мертвые тела падают на землю и погребаются под землей, то люди и стали думать, что и вся дальнейшая жизнь усопших — подземная. Из такого мнения проистекло немало заблуждений, а поэты еще больше их умножили.

<sup>19</sup> «Сверстники» — комедия Цецилия Стация, переложение одноименной комедии Менандра.

(37) Сколько раз полный театр, и с детьми и с женщинами, трепетал при величавых стихах:

Я спускаюсь к Ахеронту, в пропасти глубокие,  
Сквозь пещеры, под скалами острыми нависшими,  
Где густеют страшным хладом мраки преисподние...

Суеверие это, кажется, уже исчезает; но сила его была такова, что, когда научились сжигать тела на кострах, о преисподней все равно выдумывали такое, чего без тела ни сделать, ни вообразить нельзя. Невозможно ведь представить умом душу, которая живет сама по себе; и вот им пытались придать какой-нибудь образ или облик. Отсюда — «спуск к мертвым» (νέκυια) у Гомера, отсюда — гадание, которое друг мой Аппий называет *νεκρομαντεία*, отсюда — рассказы о недалеком от нас Авернском озере<sup>20</sup>,

Где из глубей Ахеронта, в сумраки окутаны,  
Всходят души, к нам влекомы кровью жертв соленою...

Это — призраки мертвых, но по воле поэтов призраки эти даже говорят, а ведь для этого нужен язык, нёбо, гортань, грудь, легкие во всем их складе и силе. Ведь мыслью увидеть поэты ничего не могли и вот обращались к зрению.

(38) Лишь могучему гению под силу отнять ум от чувств и оторвать собственную мысль от общей привычки. Может быть, такие и были в течение столь многих веков; но в книжное время первым объявил человеческую душу бессмертной Ферекид Сиросский, — было это давно, когда в Риме царствовал мой тезка<sup>21</sup>. Мнение это всего сильнее укрепил ученик его Пифагор: он приехал в Италию при Тарквинии Гордом и пленил всю Великую Грецию — как своим учением, так и своим образом и обликом; еще много веков спустя слава пифагорейцев была такова, что, кроме них, никого и не признавали за ученого. Но речь сейчас о временах более древних. Доказательств своего учения они тогда почти не приводили, кроме разве тех, которые можно выразить числами и чертежами.

(39) И лишь Платон, говорят, приехал в Италию нарочно для знакомства с пифагорейцами, изучил у них все, а науку о бессмертии души — более всего, и после этого не только разделил Пифагорово мнение, но подвел под него обоснование. Однако, с твоего позволения, мы это обоснование оставим в стороне, как и все упования на бессмертие души.

— Как? Ты довел мое ожидание до самого предела и тут вдруг бросаешь? Клянусь, я охотнее готов заблуждаться вместе с Платоном, чем разделять истину с нынешними знатоками, — я ведь знаю, как ценишь ты Платона, и сам дивлюсь ему с твоих слов.

(40) — Мужайся! Я и сам бы рад заблуждаться вместе с Платоном. Разве я выражаю в нем сомнение — хотя бы такое сомнение, какое у меня в обычае? Никоим образом! Ведь математики доказывают нам, что земля находится в середине мира, что в небесных сферах она занимает точку, называемую центром, что природа четырех всепорождающих стихий словно поделила и распределила между ними различные тяготения — суша и влага своим весом и тягостью одинаково наклонно сносятся в землю и море, оказываясь тем самым в средоточии мира, а две другие стихии, огонь и воздух, прямо взлетают в небесные пределы, — то ли это природа их сама стремится ввысь, то ли легкое от тяжелого само собой отталкивается. Но если это так, то должно быть ясно: души, отделившиеся от тела, возносятся ввысь, будь они духовными, то есть воздушными, будь они огневыми.

(41) Если же душа есть некое число (мысль скорее глубокая, чем ясная) или же пятая стихия, которую нельзя ни назвать, ни понять, то она должна быть еще цельнее и чище и поэтому возносится особенно высоко над землей.

Чем из всего здесь перечисленного считать душу, безразлично, лишь бы такая живая сила, как ум, не была загнана ни в мозг, ни в сердце, ни в кровь, как того хочет Эмпедокл. О Дикеархе и Аристоксене, его сверстнике и соученике, при всей их учености говорить не приходится: первый из них, по-видимому, настолько был бесчувствен, что даже не заметил души у самого себя, а второй настолько поглощен своей музыкой, что и о душе судил как о песне. Между тем гармонию мы познаем из интервалов между звуками, и разные интервалы, складываясь, дают многообразные гармонии; а вот какую может дать гармонию склад и облик тела без души, я представить себе не могу. Так что пусть уж лучше он при всей своей учености уступит

<sup>20</sup> «Спуск к мертвым» — «Одиссея», XI; «некиомантия» — гадание с вызовом теней умерших; Авернское озеро близ Неаполя считалось входом в Аид.

<sup>21</sup> Царь Сервий Туллий (VI в. до н. э.); его убийца и преемник Тарквиний Гордый был современником приезда Пифагора в Италию (ок. 530–520 гг. до н. э.).

это место учителю своему Аристотелю, а сам учит пению: не зря ведь говорится в греческой пословице:

Кто в чем учен, тот в том пусть и старается!

(42) И уж подавно мы отвергнем то случайное стечение неделимых телец, гладких и круглых, в котором Демокрит считает возможным находить теплоту и дыхание, то есть одушевленность. Если же наконец душа есть одна из тех четырех стихий, из которых будто бы все состоит, то, несомненно, она состоит из воспламененного воздуха (так, кажется, преимущественно полагает Панэтий)<sup>22</sup>, а стало быть, неизбежно стремится ввысь: ни огонь, ни воздух не имеют в себе ничего нисходящего, а всегда тянутся вверх. Поэтому, если эти души рассеиваются, то не иначе как высоко над землю, если же продолжают жить и сохраняют свой образ, то тем несомненнее они возносятся к небу, прорезая и разрывая воздух более густой и плотный, который ближе к земле. Ибо душа — пламеннее и жарче, чем этот воздух, который я назвал густым и плотным; это видно из того, что тела наши, сами по себе сложенные из земляной стихии, согреваются жаром души.

(43) А вырваться из названного здешнего воздуха и прорвать его тем легче для души, что ничего на свете нет ее быстрее: никакая скорость не поспорит со скоростью души. Стало быть, если только душа остается нерушимой и подобной самой себе, то неизбежно она несется так, что прорезает и пронизывает это небо, влажное и сумрачное от испарений земли, с его тучами, дождями и ветрами. Преодолев наконец эту область, душа встречает и узнает природу, подобную себе; тогда она останавливается среди огней, в которых тончайший воздух слился с нежарким солнечным теплом, и выше уже не движется. В самом деле: оказавшись среди такой же теплоты и легкости, как и у нее самой, она словно уравнивается на весах и более никуда не движется; здесь ее естественное место, здесь она окружена себе подобными, здесь она ни в чем не нуждается, а питает и поддерживает ее все то же самое, чем питаются и поддерживаются звезды.

(44) А так как тело наше всегда распалено всяческою алчностью и завистью ко всем, у кого есть то, чего нам хочется, мы воистину будем блаженны, лишь когда покинем тела и так освободимся от алчности и зависти. Впрочем, мы сейчас именно это и делаем: освободившись от забот, предаемся созерцанию и умозрению; это же мы будем делать и там, тем свободнее и тем полнее обращая все свои силы на рассмотрение и созерцание предметов, что уже от самой природы заронена в наши умы некая ненасытная жажда истины, а там весь вид этих мест, ожидающих нас, располагая к удобнейшему наблюдению неба, внушит нам и сугубую жажду познания.

(45) Ведь именно красота и на земле еще возбудила в нас, по слову Феофраста, «отцовское и дедовское любомудрие, вожженное жаждою знания». Особенно это относится к тем, кто еще в ту пору, когда люди на земле жили во мраке, стремились провидеть сквозь этот мрак остротою умственного зора.

В самом деле: ведь и теперь производит впечатление зрелище проливов при устье Понта, через которые проник

Арго, в котором лучшие аргивяне  
Шли за руном барана золоченого,—  
или океанский пролив,  
Где меж Европой и Ливией хищное плещется море.

Каково же должно быть зрелище, когда предстанет нам вся земля с ее положением, видом, очертаниями, с ее населенными частями и теми, которые из-за сильного зноя и холода остаются вовсе нетронутыми?

(46) А мы ведь воспринимаем видимое не глазами; в самом теле нет ни единого чувства, зато (это говорят не физики, а медики, которые видели это и показали въяве) есть как бы пути, ведущие от седалища души к отверстиям глаз, носа и ушей<sup>23</sup>. Поэтому-то не раз от задумчивости или от болезни мы и ничего не видим и не слышим совершенно здоровыми глазами и ушами, что лишний раз показывает нам, что видит и слышит именно душа, а не части тела, которые служат ей как бы окошками, но которыми ничего нельзя чувствовать без присутствия и участия ума. А ведь таким образом мы воспринимаем вещи самые различные — цвет, вкус, жар, запах, звук; и никогда бы мы не назвали пять чувств пятью вестниками души, если бы все

<sup>22</sup> Некоторые стоики (в том числе учивший в Риме во II в. Панэтий, друг Сципиона и Лелия) допускали, что души продолжают жить недолгое время после смерти, другие — что все души продолжают жить до общего «испламенения» всего мира, третьи — что до испламенения доживают только души мудрецов.

<sup>23</sup> Пути, ведущие от органов чувств к мозгу, — полые (после смерти) артерии, а не нервы, система которых была еще незнакома греческим медикам.

не сходилась к душе и она не была бы им единственным судьбою. Так вот, все эти чувства бывают и яснее и чище, когда душа свободной воспаряет туда, куда ее влечет природа.

(47) Ведь хотя все эти проходы через тело к душе проделаны природою с величайшим мастерством, однако в плотных земных телах они то и дело засоряются; а вот когда кроме души ничего уже не будет, тогда ничто постороннее не мешает душе воспринять все как есть.

Как много сказал бы я, если бы потребовалось, о том, какие в небесных пределах явятся душе зрелища, какие обильные, какие разнообразные!

(48) Размышляя об этом, я часто дивлюсь нахальству тех философов, которые восхищаются познанием природы, а начинателя и вождя своего в этом исследовании с благодарным ликованием чтят как бога: это он, говорят они, освободил их от тягчайших тиранов — от вечного ужаса, от повседневного и повсенощного страха<sup>24</sup>. О каком страхе речь, о каком ужасе? Есть ли хоть одна сумасшедшая старуха, которая боялась бы того, чего боялись будто бы вы, кабы не ваша физика,—

Глубинные святыни ахеронтские,  
От смерти бледные, от мрака темные.

И не стыдно философу хвастаться, будто он такого не боится и считает за вздор? Вот где видна мера их природного ума: не будь науки, они бы и такому верили!

(49) Да и не знаю, что хорошего в том уроке, который вынесли они из своей науки, — будто с приходом смерти мы погибаем без остатка. Может быть, это и так, я не спорю, — но что в этом утешительного или славного? Да и не встречалось мне, пожалуй, никаких доводов, убеждающих, что мысль Пифагора и Платона не истинна. Даже если бы Платон не приводил никаких доказательств, он убедил бы меня авторитетом (ты видишь, как важно для меня, каков сам человек!), — но доказательств он привел столько, что видно, как он старается убедить не себя, но и других.

(50) Но много есть и таких, которые, напротив, считают смерть для души чем-то вроде уголовного наказания. Это опять-таки свидетельствует лишь о том, что они не верят в бессмертие души, потому что не умеют сообразить и понять разумом, что представляет собою душа без тела. Можно подумать, что они хоть в теле-то представляют себе душу, ее склад, величину, местоположение! Но, право, если бы они могли в живом человеке увидеть все, что в нем скрыто от взгляда, то еще вопрос, заметят ли они в нем душу, или она по тонкости своей ускользнет от их взгляда?

(51) Пусть-ка они подумают — те, кто твердят, будто не представляют себе душу без тела. А как они представляют себе душу в теле? Мне так наоборот, когда я вникаю в природу души, гораздо темнее и труднее бывает помыслить, какова душа, обитающая в теле, как бы в чужом доме, чем какова душа, излетевшая из тела и вернувшаяся в вольное небо, как в родную обитель. Вот если бы мы могли иметь понятие о том, чего мы никогда не видели, то, конечно, мы получили бы понятие и о самом боге, и об освобожденной божественной душе. Так что если Дикеарх и Аристоксен пришли к совершенному отрицанию души, то лишь потому, что слишком трудно понять, что она такое и какова она.

(52) Да, увидеть душу душою же — великое дело; в этом и состоит смысл Аполлонова завета: «Познай самого себя». Я сам полагаю, что он велит этим познать не члены наши, не рост, не облик: ведь мы и наши тела — вещи разные, и, разговаривая с тобой, я вовсе не с телом твоим разговариваю. Стало быть, говоря «Познай самого себя», он говорит: «Познай душу свою». Ибо тело для души — лишь сосуд или иное какоеместилище: как действует твоя душа, так действуешь ты сам. Познать это — поистине достойно божества: иначе это наставление некоего мудреца не было бы приписано самому богу.

(53) Но если душа и не знает сама, какова она, то, скажи, разве она не знает, тем не менее, что она существует, разве не знает, что она движется? Отсюда — известное рассуждение Платона, которое у него развивает Сократ в «Федре», а у меня вставлено в VI книгу «О государстве»: «Что всегда в движении, то вечно; а что сообщает кому-то свое движение или само принимает от кого-то свое движение, в том, как только кончится движение, неизбежно кончится и жизнь. Только то, что само себя движет, никогда не прекращает движения, ибо никогда не покидает самого себя: поэтому в нем — исток и начало движения всех остальных движущихся тел.

(54) Само же начало начала не имеет. В самом деле, это от начала возникает все на свете, само же оно ни из чего не может родиться: будь оно чем-то рождено, оно бы не было началом. А что никогда не родится, то никогда и не гибнет — ибо погибнувшее начало не может ни возродиться само от чего-нибудь другого, ни из себя породить что-то другое, поскольку все, что есть, начинается лишь от начала. Итак, начало движения — в самодвижении, а оно не имеет ни начала, ни конца, иначе бы неминуемо остановилось и рухнуло бы все

<sup>24</sup> Эпикурейцы с их культом Эпикура-спасителя.

небо и мироздание, и не нашлось бы никакой силы, чтобы вновь привести их в движение. Так вот, если ясно, что все самодвижущееся вечно, то кто станет отрицать, что именно такова природа души? Ведь все неодушевленное движется лишь от внешнего толчка, а все одушевленное наделено движением внутренним и незаемным. В этом — природа, в этом — суть души: она принадлежит к предметам самодвижущимся, а стало быть, не рождена и бессмертна».

(55) Пусть сойдется скопом хоть вся философская чернь (так хотелось бы мне назвать всех, кто отклоняется от Платона, Сократа и их школы), они не только не сумеют объяснить это с таким изяществом, но и этого-то объяснения во всей тонкости его вывода не уразумеют. Итак, душа чувствует, что она движется; вместе с этим чувствует, что движется собственной силою, а не чужой; а стало быть, не может случиться, чтобы она покинула самое себя. Вот так мы и доказали бессмертие души. Нет ли у тебя к этому замечаний?

— Нисколько: я легко следовал за тобой, и мне и в голову не приходило возражать — настолько мне по душе это учение.

(56) — Ну что ж! Тогда для тебя, может быть, не менее убедительны будут доводы, показывающие, что в этих душах людских есть что-то божественное? Если я вижу, как нечто рождается, то я могу представить, и как оно погибает. Кровь, желчь, гной, кости, мышцы, жилы, — обо всем этом, обо всем складе членов и целого тела, мне кажется, я могу сказать, из чего они сделаны и как. Душа — другое дело: если бы она была только тем, что дает нам жить, то я считал бы, что от природы душа поддерживает жизнь в человеке точь-в-точь как в лозе или дереве: ведь говоря «жизнь», мы имеем в виду именно это. А если бы душа содержала только влечения и отвращения, это бы уподобляло человека лишь животным.

(57) Между тем еще в ней есть память, и притом память бесконечная о вещах бесчисленных — то, что Платон называет припоминанием высшей жизни. Так, в книге под названием «Менон» Сократ у него задает какому-то мальчишке вопросы об измерении квадрата, тот на них по-ребячески отвечает, но вопросы так легки, что постепенно он начинает отвечать так, словно сам учился геометрии; отсюда Сократ и заключает, что всякое учение есть не что иное, как припоминание. Еще тщательнее рассматривает он этот вопрос в другой беседе, которую вел в последний день своей жизни: здесь он показывает, что каждый встречный, будь он хоть круглым невеждою, при хорошем спросе покажет своими ответами, что он не тотчас усвоил свои знания, а извлек их, припоминая, из памяти; а ведь немислимо было бы с детства иметь в наших душах врожденные и как бы запечатленные понятия (так называемые *επιόαι*), если бы душа еще до того, как войти в тело, не окрепла в познании вещей.

(58) Ведь Платон постоянно говорит, что ничто не существует в истинном смысле слова; «в истинном смысле слова» он считает существующим не то, что возникает и погибает, но только то, что сохраняет свои качества всегда («идею» — на его языке, «прообраз» — на нашем), — а именно этого душа не могла познать, будучи заключена в тело, и, стало быть, она уже знала это, когда входила в тело. Вот отчего мы изумляемся собственному знанию стольких предметов. Оказавшись вдруг в жилище непривычном и неудобном, душа не может видеть их ясно; но, собираясь с силами и оживая, начинает узнавать их путем припоминания. Таким образом, учение есть не что иное, как воспоминание.

(59) У меня же самого есть особенные основания восхищаться такой вещью, как память: ведь что такое память у нас, ораторов, и в чем ее сила, и откуда она берется? Я не говорю, какую памятью славился Симонид, какую — Феодект, как памятливым был посланный от Пирра к сенату Киней, как потом Хармад и не так давно умерший Метродор Скепсийский, как наш друг Гортензий<sup>25</sup>, — нет, я говорю о памяти простых людей, особенно тех, кто искушен в каком-нибудь высоком умении и искусстве: все равно они держат в памяти столько, что трудно и вообразить широту их ума.

(60) К чему я веду эту речь? Я хочу показать, что это за сила и откуда она. Конечно, она заключена не в сердце, не в крови, не в мозге, не в атомах; может быть, в духе, может быть, в огне, — не знаю и не стыжусь признаться в своем незнании (как иные философы), а могу только сказать об этом и о любом другом темном деле, что поистине божественным будет тот ум, который твердо скажет, что душа человека — это дух или огонь. Так скажи ты мне: могла ли здесь, на земле, под этим темным и влажным небом посеяться и окрепнуть такая могучая сила, как память? Что такое память, нам не видно; но какова она — видно; а коли не это, то уж как она широка — заведомо видно.

(61) Так что же она? Может быть, мы вообразим в душе какую-то емкость, в которую, как в сосуд, стекаются все наши воспоминания? Но это нелепо: как она будет наполняться, и как представить себе такие очертания души, и вообще, что это за огромная получится емкость? Или, может быть, вообразить душу

---

<sup>25</sup> Поэт Симонид Кеосский (первая половина V в. до н. э.) считался изобретателем мнемоники; Феодект, ученик Исократы (IV в.), славился тем, что мог с одного раза повторить сколько угодно стихов; Киней, посол Пирра к сенату, на второй же день приезда знал в лицо и по имени каждого сенатора; Хармади Метродор (Скепсийский, в отличие от своего тезки, ученика Эпикура) — академики, ученики Карнеада (конец II в. до н. э.); памятью Гортензия Цицерон восхищается и в «Бруте», 88, 301.

подобной воску, а память — следам вещей, отпечатавшимся на воске? Но какие отпечатки могут оставлять слова и даже предметы, а главное — как безмерна должна быть величина этого воска, чтобы запечатлеть столько всего?

А что сказать наконец о той способности души, которая исследует скрытое, которая называется догадкой и размышлением?

(62) Разве от этой земной, смертной и хрупкой природы — деяния того, кто первый дал названия всем вещам (Пифагор считал это делом высочайшей мудрости), или кто собрал рассеянных по земле людей и обратил их к общественной жизни, или кто уложил в немногие знаки букв все звуки речи, казавшиеся бесчисленными, или кто разметил движения планет, их порывы вперед и остановки? Все они — великие люди, равно как и их предшественники, которые ввели в обиход и земные плоды, и одежду, и жилища, и жизненные удобства, и защиту от диких зверей, — ведь именно это смягчило нас, воспитало и позволило перейти от необходимости к изяществу. Так и услада для слуха отыскалась в сочетании различных по природе своей звуков; так и звезды мы стали наблюдать как неподвижные, так и подвижные («планеты» — блуждающие, как их называют); и кто узрел душой их круговорот и прочие движения, тот доказал, что душа его подобна душе того, кто вывел в небе эту постройку.

(63) В самом деле, когда Архимед заключил в один шар все движения солнца, луны и пяти планет<sup>26</sup>, то он совершил то же, что и платоновский бог, творец мира в «Тимее»: подчинил единому кругообороту движения ускоренные и замедленные. И если в мире это не может совершиться без бога, то и в сфере своей Архимед не мог бы воспроизвести это без божественного вдохновения.

(64) Но не только в таких знаменитых и славных образцах вижу я присутствие божественной силы: по мне, так ни поэт не сложит важную и полнозвучную песню без некоего небесного побуждения в душе, ни красноречие без некой высшей силы не потечет обилием прекрасных слов и богатых мыслей. А уж философия, мать всех наук, что она, если не дар богов (по выражению Платона)<sup>27</sup> или создание богов (как говорю я)? Это она обучила нас сперва — почитанию самих богов, потом — справедливости меж людей, на которой держится человеческое общество, потом — скромности и высокости духа; и она же согнала мрак с души, как с очей, чтобы мы могли видеть вышнее и нижнее, первое, последнее и среднее.

(65) Право же, только божественная сила, как я думаю, могла совершить столько великого. Что можно сказать о памяти на слова и дела, что — о способности к знанию? Уж наверное то, что в самих богах ничего нельзя представить совершеннее. Я не думаю, что боги услаждаются амброзией и нектаром или радуются кубкам из рук Гебы; я не верю Гомеру, будто боги похитили Ганимеда ради его красоты, чтоб он стал виночерпием Юпитера (это еще не причина, чтобы так обижать Лаомедонта!) — нет, Гомер все это выдумал, перенося на богов людские свойства, мы же на людей переносим божеские. Что это за божеские свойства? Бессмертие, мудрость, проницательность, память. Потому я и говорю, что душа — божественна, а Еврипид даже решается говорить, что душа — бог. Если бог есть дух или огонь, то такова же и душа человека, — и как природа небес свободна от земли и воды, так и человеческая душа не содержит ни того, ни другого; если же существует некая пятая стихия, о которой первым заговорил Аристотель, то она — общая для богов и для души.

Следуя этому учению, вот как мы написали в своем «Увещании»<sup>28</sup>.

(66) «Начала души не приходится искать на земле: в душе нет ничего смешанного и сбитого, ничего рожденного или слепленного из земли, ничего влажного, воздушного или огненного. Ибо все эти стихии не содержат никаких задатков памяти, ума, размышления, ничего способного сохранять прошлое, предвидеть будущее, обымать настоящее, — а только это и можно назвать божественным, и прийти всему этому к людям неоткуда, кроме как от бога. Стало быть, природа и суть души есть нечто особенное, отдельное от привычной и знакомой нам природы: и все, что чувствует, мыслит, живет и крепнет, — небесно и божественно, и по этой самой причине — бессмертно. Да и сам бог не может быть понят нашим пониманием иначе, чем некий отрешенный и свободный ум, отстранившийся от всякой смертной плотности, все чувствующий, все движущий и сам находящийся в вечном самодвижении».

(67) Вот какого рода и вида человеческий дух. — «Но где же он и какой же он?» — А где твой собственный дух, и какой он, — ты можешь сказать? Если я знаю меньше, чем хотел бы знать для полного понимания, то разве ты запретишь мне пользоваться хотя бы тем, что я знаю? — «Душа так бессильна, что не видит и самой себя!» — Точно так же, как и глаз: душа, не видя себя, видит все остальное. — «Она не видит

<sup>26</sup> Небесный глобус, модель мироздания, построенная Архимедом; описана в книге Цицерона «О государстве», I, 14.

<sup>27</sup> «Тимей», 47 d.

<sup>28</sup> «Увещание к философии» — первое из цикла философских сочинений Цицерона, написанных в 46–44 гг. (не сохранилось).

даже простейшего — собственного облика!» — Может быть, даже его она видит, — но об этом пока умолчим; а вот силу свою, пронизательность, память, движение, быстроту она видит. В этом ее величие, в этом божественность, в этом бессмертие, — а какого она вида и где находится, не стоит и гадать.

(68) Как мы прежде всего видим красоту и свет неба; потом — невообразимую стремительность его вращения; потом — череду дней и ночей, вместе со сменой четырех времен года, благоприятствующей созреванию плодов и укреплению тел; потом — солнце, которое все их ведет и правит, и луну, которая своей прибылью и убылью как бы отмечает и размеряет календарные дни, и круг, разделенный на двенадцать частей, а в нем — пять звезд, движущихся по-разному, но твердо блюдущих каждая свой путь, и образ ночного неба, повсюду украшенного звездами, и земной шар, сушею выступающий из моря, утверченный в средоточии мироздания, охваченный двумя поясами обитаемыми и возделанными, из которых один, населенный нами, —

Под полюсом, близ Веза семизвездного,  
Откуда Аквилон со свистом снег несет, —

а другой — южный, нам неизвестный, у греков называемый «противоземлей»<sup>29</sup> антиподов.

(69) остальные же части земли необитаемы из-за ледящего холода или палящего жара, а здесь, где мы живем, всякий раз в свой срок

Сияет солнце, лес листвою кроется,  
Сок животворный полнит гроздь лозные,  
Поля родят зерно, в лугах цветы цветут,  
Бьют родники, земля покрыта зеленью, —

далее, когда мы видим множество скота на потребу нам то для пищи, то для пахоты, то для езды, то для одежды, видим самого человека созерцателем неба и чтителем богов, а поля и моря — открытыми для его пользования.

(70) Когда мы видим все это и несчетно многое другое, то можем ли мы сомневаться, что над всем этим есть некий зиждитель (если мир имел начало, как полагает Платон) или блюститель всего этого строения и заботы о нем (если все это существовало извечно, как думает Аристотель)? Точно так же и дух человеческий: как бога ты не видишь, но узнаешь бога по делам его, так душу ты не видишь, но по ее памяти, по сметливости, по быстроте движения, по всей красоте ее доблести нельзя не признать божественной сути души.

Но где же она находится? Полагаю, что в голове, и могу даже привести тому доказательства. Но если это и не так, то где бы она ни находилась, она — в тебе. Какова ее природа? Незаемная и самостоятельная, как я думаю; но будь она хоть воздушная, хоть огненная, это к нашему делу не относится. Ты будешь верить в бога, хоть не знаешь, ни где он, ни какой он с виду; точно так же довольно с тебя знать, что есть душа, даже если не знаешь ни вида ее, ни места.

(71) А знать, что есть душа, можно без всякого сомнения, если хоть малость смыслить в физике. Ведь в душе нет ничего смешанного, скрепленного, соединенного, сдвоенного; а если так, то ее нельзя разделить, разорвать, разъять, — то есть, она недоступна гибели. Ибо гибель — это и есть распад, раскол, разделение тела на части, которые до смертного мига держались какою-то связью.

Вот по каким и подобным соображениям некогда Сократ, обвиненный в смертном преступлении, и от защитника отказался, и перед судьями не угодничал, а держался своего вольного упорства (порожденного высокостью души, а отнюдь не гордынею!). Еще в последний день своей жизни он пространно рассуждал именно об этом; немного раньше, когда ему было легко ускользнуть из-под стражи, он сам того не пожелал; и, наконец, почти уже со смертоносной чашею в руке, разговаривал он так, словно ему угрожала не бездна смерти, а восхождение в небеса<sup>30</sup>.

(72) Рассуждал и говорил он при этом так. Два есть пути, две дороги для душ, отходящих от тел. Кто пятнает себя людскими пороками, впадает в ослепляющие похоти и оттого или оскверняет пороком и нечестием свой дом, или затевает неискупимые коварства и насилия против своего государства, у тех дорога кривая, уводящая их прочь от сонма богов. А кто сохранил себя чистым и незапятнанным, меньше всего

<sup>29</sup> Собственно, «противоземлей» у пифагорейцев называлась не сторона «антиподов» в южном полушарии, а отдельное светило, вращающееся вокруг Солнца по той же орбите, что Земля.

<sup>30</sup> Цицерон описывает поведение Сократа по «Федону» Платона, местами почти буквально.

занимался делами телесными и всегда был от них отрешен, тот и в людском теле вел жизнь, подобную богам, и такие люди легко находят возвратный путь туда, откуда пришли.

(73) При этом вспоминает он лебедей, которые недаром посвящены Аполлону, а потому, что, видимо, получили от него дар предвиденья: как они, предчувствуя, что в смерти — благо, умирают с наслаждением и песнею, — так пристало умирать всем, кто добр и учен. В этом не приходится сомневаться — лишь бы не случилось с нами в наших рассуждениях о душе то, что часто бывает, когда смотришь на заходящее солнце и на этом совсем теряешь зрение; так и острота ума, обращенная на самое себя, порою притупляется, и поэтому мы утрачиваем зоркость наблюдения. Так носится наш разум, как ладья в бескрайнем море, среди сомнений, подозрений, колебаний и многих страхов.

(74) Это — пример из древности и из Греции; но вот и наш Катон ушел из жизни так, словно радовался поводу умереть. Бог, обитающий в нас, запрещает нам покидать себя против его воли; но когда он сам предоставляет законный к этому повод, как некогда Сократу, недавно — Катону и нередко — многим другим, тогда поистине мудрец с радостью выйдет из этих потемок к иному свету: не ломая стен тюрьмы (чтобы не нарушать законы), он выйдет по вызову бога, словно по вызову начальника или иной законной власти. Ведь и вся жизнь философа, по выражению того же Платона<sup>31</sup>, есть подготовка к смерти.

(75) В самом деле, разве не именно это мы делаем, когда отвлекаемся душой от наслаждения, то есть от тела, от домашних дел, то есть от рабского прислуживания телу, от государственных дел и в конце концов — от всяких дел? Всем этим мы именно призываем душу к себе самой, понуждаем быть наедине с собой и по мере сил удаляем от тела. А отделять душу от тела — разве это не то же самое, что учиться умирать? Поэтому будем готовиться, будем отделять себя от тела, будем, стало быть, упражняться в смерти. От этого и здесь, на земле, жизнь наша подобна будет небесной, и потом, когда мы вырвемся из этих уз, то полет наших душ будет быстрее. Ведь кто провел всю жизнь в телесных колодках, тот и высвобожденный будет двигаться лишь медленно, как те, кто долгие годы ходил в кандалах. И вот когда мы достигнем цели своего пути, тогда-то и начнется наша настоящая жизнь, ибо здешняя жизнь — это смерть, и я мог бы о ней сложить целый плач, если кому угодно.

(76) — Да ведь ты уже и сделал это в своем «Увещании», — всякий раз, как я его читаю, мне больше всего хочется покинуть этот мир, а выслушав эту твою речь, хочется еще больше.

— Будет срок, скоро и ты или передумаешь или захочешь еще сильнее: время ведь летит быстро. Во всяком случае, о том, что смерть есть зло (как тебе казалось), не может быть и речи; я даже боюсь: смерть едва ли не противоположна злу, едва ли даже не благо — ведь благодаря ей мы станем богами или соседями богов.

— Почему же ты говоришь: «Я боюсь»?

— Потому что многие с этим не согласны. А я никак не хочу, чтобы после этого нашего разговора хоть какой-нибудь довод еще мог бы убедить тебя, будто смерть есть зло.

(77) — Кто же может убедить меня после этого?

— Кто сможет? Да тут выйдут спорщики целыми толпами, и это будут не только эпикурейцы, которых я лично вовсе не презираю, но из ученых людей почему-то презирают все. Так, против бессмертия души со страстью выступал любимый мой Дикеарх — он написал три «Лесбосские книги» (по той речи, которую он держал в Митиленах) и в них старается доказать смертность души. А стоики — те уступают нам душу лишь в долгосрочное пользование, как воронам: они согласны, что души долговечны, но не согласны, что души бессмертны. Но хочешь, я тебе скажу, почему даже при такой предпосылке смерть все-таки не есть зло?

— Как же не хотеть! Но в бессмертии души меня никто уж не заставит усомниться.

(78) — Хвалю, конечно, но чрезмерная самоуверенность опасна. Часто нас смущает какой-нибудь остроумный вывод, и мы оступаемся и меняем мнение даже в вопросах пояснее, а сейчас перед нами вопрос темный. Вооружимся же и для такого случая.

— Вооружимся, но я постараюсь, чтобы таких случаев не было.

— Итак, есть ли у нас причины обходить вниманием наших друзей-стоиков? тех стоиков, которые признают, что души, покинув тело, сохраняют жизнь, но не признают, что навеки?

— По-моему, они принимают то, что в нашем вопросе самое трудное, — что душа может существовать и без тела; а того, что и само по себе легче принять и что из принятого ими следует прямым следствием, они признавать не хотят, — признают, что души живут долго, но не признают, что вечно.

— Отличное возражение: так оно и есть.

(79) Тогда, может быть, прислушаемся к Панэтию, именно здесь разноречащему со своим Платоном? Ведь он всюду называет Платона божественным, мудрейшим, святейшим, даже Гомером среди философов, и только это единственное учение о бессмертии души отвергает. Он настаивает (о чем никто и не спорит), что



все рожденное гибнет; а душа, по его мнению, рождается, и доказательство этому — сходство отцов и детей, которое бывает не только в облике их, но и в нраве. И второй есть у него довод: все, что способно страдать, доступно для болезни, а что подвержено болезни, то обречено на смерть; но душа способна страдать — стало быть, способна и умереть.

(80) Этот последний довод можно опровергнуть так: Панэтий здесь словно забывает, что когда говорится о бессмертии души, то имеется в виду человеческий дух в целом, свободный от всякого смущающего движения, а не отдельные части этого духа, в которых и находят приют боль, гнев и похоти; и тот, с кем здесь спорит Панэтий<sup>32</sup>, считает эти части лежащими от ума далеко и отдельно. Что же касается схождения, то оно гораздо заметнее не в человеке, а в животных, души которых не имеют разума; у людей же сходство гораздо заметнее в телесном облике, чем в душе. Но ведь и для души немаловажно, в каком заключена она теле: многое в теле обостряет дух, многое, наоборот, притупляет. Аристотель<sup>33</sup>, например, заявляет, что все одаренные люди — безумцы (что утешает меня в скромности моего дарования), перечисляет много примеров и, словно считая это уже доказанным, предлагает объяснение, почему это так. А если на склад ума так влияют телесные особенности (которые, в чем бы они ни выражались, как раз и составляют сходство), то и такое сходство нельзя считать доказательством, что души рождаются вместе с людьми.

(81) А о несхождении и говорить нечего: будь здесь сам Панэтий, приятель Сципиона, уж я бы спросил его, с кем же из своих сородичей сходен Сципионов внучатный племянник, который лицом был вылитый отец, а нравом такой забулдыга, что хуже, пожалуй, и найти нельзя? Или с кем сходен внук Публия Красса, человека мудрого, красноречивого и одного из первых в государстве, или с кем — сыновья и внуки многих знаменитых мужей, перечислять которых нет надобности?

Но о чем мы заговорились? Разве мы забыли, что мы собирались, порассуждав о бессмертии души, показать, что даже если душа — смертная, то все равно в смерти нет ничего дурного?

— Отлично помню; но твое рассуждение о бессмертии души хоть и было отступлением, но очень уж пришлось мне по сердцу.

(82) — Вижу, вижу, что цель твоя высока и ты мечтаешь вознестись в самое небо. Будем надеяться, что такая судьба нас и ждет. Но допустим, в угоду им, что души не остаются жить после смерти, — и что из того? Надежды на блаженную жизнь мы лишаемся; но что дурного, какое зло сулит нам это учение? Пусть душа погибает так же, как тело, — но разве после смерти в теле остается боль или какое-нибудь другое чувство? Никто не решается сказать такое; хотя Эпикур и приписывает это мнение Демокриту, но сами последователи Демокрита это отрицают. А в душе? В ней тоже нет никакого чувства, ибо и самой-то души уже нет нигде. А третьего не дано; где же, спрашивается, зло? Может быть, само отделение души от тела причиняет боль? Если даже так, то какая же это малость! Но я-то думаю, что и это не так, что обычно это отъятие души совершается нечувствительно, а иногда даже с удовольствием; но в любом случае это легко, потому что происходит мгновенно.

(83) Но другое тебя томит и даже мучит: расставание со всем, что в жизни есть хорошего. Не вернее ли сказать: «Со всем, что есть плохого»? Мне ни к чему сейчас оплакивать людскую жизнь — я мог бы это сделать по истине и по справедливости, но зачем? Если речь идет о том, что после смерти мы не несчастны, то с какой стати делать самую жизнь несчастнее от наших причитаний? Да мы уж и писали об этом в той книге, где по мере сил сами для себя искали утешения. Стало быть, как посмотреть по сути, от всего дурного, а вовсе не от хорошего отрывает нас смерть. Недаром киренаик Гегесий<sup>34</sup> рассуждал об этом так пространно, что царь Птолемей, говорят, запретил ему выступать на эту тему, потому что многие, послушавши его, кончали жизнь самоубийством.

(84) У Каллимаха есть эпиграмма на Клеомброта Амбракийского, который будто бы без всякой бедственной причины бросился в море со стены только оттого, что прочитал диалог Платона. Тому же самому Гегесию принадлежит книга «Обессиленный», в которой герой собирается кончить жизнь голодовкой, друзья его разубеждают, а он им в ответ перечисляет все неприятности жизни. То же самое мог бы сделать и я, хоть и не в такой степени, как он, считающий, что жизнь вообще никому не впрок. Не буду говорить о других — но мне самому она разве впрок? Если бы я умер раньше, чем лишился всех своих утех, и домашних и общественных, смерть избавила бы меня от бед, а уж никак не от благ.

(85) Вообразим себе человека, не изведавшего зла, не понесшего ни единой раны от судьбы. Вот Метелл

---

<sup>32</sup> Платон.

<sup>33</sup> «Проблемы», 30, I.

<sup>34</sup> Ученик Аристиппа, прозванный «Убеждающим умереть», жил в Египте в начале III в. до н. э.